

Игорь ШАРАПОВ

## КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ

Я родился в 1937 году, памятном многими событиями. Мои родители жили в Ленинграде, но решили произвести первенца на Полтавщине под надзором мамы моей мамы, бабушки Ханны.

В семейном альбоме есть первая фотография меня, крепкого малыша, выглядящего несколько испуганным. Испуг, возможно, объясняется тем, что факт моего рождения не был подтвержден. Позже я узнал, что в архивах города Кременчуга, где я появился на свет, об этом нет записи.

Реально я проявился, а формально меня не было.

Эту историческую ошибку объясняют обстоятельства того времени.

Мои родители создали семью в период строительства социализма в стране, где не очень заботились о жизни одного человека, имея в виду, что светлое будущее ждет всех. Эпохальное переустройство общества могло обойтись без лишних формальных записей.

В то время большее значение имело социальное происхождение, а с этим у меня не было проблем, по понятиям того времени.

Родители моего папы приехали в Москву из деревни Колесные Горки, где родились, выросли, поженились. Фамилия Шараповы не редкая в подмосковных местах. Известны несколько деревень Шарапово.

Если эта фамилия от татар и монголов, то не так уж плохо, «шарап» по-тюркски что-то решительное, даже благородное.

В Москве Шараповы стали рабочими на заводе, им нечего было терять, хотя и с приходом советской власти они много не приобрели. К этому времени бабушка Ефросинья Ивановна Шарапова родила папу и трех его сестер: Клаву, Катю, Нину. Семья размещалась на уплотненной жилплощади в районе Кунцево. В период нэпа дед по папиной линии освоил изготовление мебели, поднялся в заработках, утратив при этом классовое самосознание, и когда началось обобществление всего, огорчился, спился и умер. О нем я знаю мало.

Бабушка Фрося стала активисткой, работала в различных комитетах, даже сидела с Калининским в президиуме какого-то собрания и уже в возрасте поступила учиться на рабфак.

О жизни моей московской родни я больше знаю по рассказам мамы.

Из сестер папы Клава выучилась на врача, работала в Крыму, Нина до пенсии — на заводе «Динамо» в Москве, Катя — корреспондентом газеты в Свердловске.

Бабушку Фросю я увидел только после войны. Она жила с дочерью Ниной в коммунальной квартире, бодрая, строгая в разговоре, но в ней чувствовались доброта и внимание к людям.

---

Игорь Михайлович Шарапов родился в 1937 году в г. Кременчуге, тогда — УССР, инженер-металлург, к. т. н. Живет в Санкт-Петербурге.

Родня по линии мамы ведет свое начало от еврейских колонистов в Херсонской губернии, где годами многие занимались ремеслом и торговлей. Семья моей мамы с необычной для тех мест фамилией Простаковы жила огородом, молочным хозяйством и извозом.

Мама говорила, что до 1929 года у них были две лошади и три коровы. Это позволило прокормиться и вырастить шестерых дочерей и двух сыновей при жизни в «мазанке» с соломенной крышей и земляным полом. Большую часть работ по хозяйству и дому делала бабушка Ханна. У дедушки Иосифа, как говорил мне младший брат мамы, дядя Миша, руки росли не из того места, он был доверчивый и веселый человек, отличался беззаботным оптимизмом.

Может, поэтому и фамилия у него была Простаков.

При коллективизации и в благодатных местах Херсонщины начался голод. Старший сын Простаковых, Павел, пошел в осеннюю степь искать убежавшую корову и, ослабленный недоеданием, замерз. Дедушка Иосиф не смог пережить эту потерю и вскоре умер.

Становилось все хуже.

К счастью, уже устроилась семейная жизнь старших маминих сестер.

Роза вышла замуж за Гришу, неплохо зарабатывающего сапожным делом, Соня — за Наума, он вел оптовую торговлю арбузами, Этель — за Захара, парикмахера, как считали, самого образованного в семье.

Больше всех повезло красивой, умной Доре: она уехала в Харьков и там вышла замуж за директора магазина торгсин Семена Ильича.

Общими усилиями сестры смогли помочь бабушке Ханне переехать в Семеновку, казачью станицу, где были несколько лучшие условия жизни при, как потом оказалось, худших отношениях между людьми.

А младшая из сестер Простаковых, моя мама, стала комсомолкой, по рабочему набору поехала в город Крюков, там поступила в техникум, познакомилась с папой из семьи во многом другого образа жизни и вышла за него замуж. Этому никто не противился.

С такой родословной я мог впоследствии указывать в анкетах, что происхожу из рабочих и крестьян, это тогда приветствовалось.

При трудовой занятости родителей правильнее было бы писать «из народной интеллигенции», но такое определение появилось позже.

После моего рождения мы вернулись в Ленинград, где жили в узкой комнате, образованной делением ранее большой квартиры на улице Тележной. Там находилось пять или шесть семей, все пользовались общей кухней, туалетом, такие удобства тогда никого не смущали.

Из этого периода моей жизни помню долгий подъем по лестнице на третий этаж дома, громкие крики старьевщиков в колодце двора и прогулки с мамой в недалеко расположенном парке.

Согласно известному положению «кто был ничем — тот станет всем», меня приняли в детский сад с датой рождения и фамилией, которые назвала мама, и я обозначилась полноценным гражданином страны.

Папа и мама работали на заводе, мы собирались вместе лишь вечером.

Родители продолжали говорить о работе, но часто обсуждали и что-то веселое, смеялись, пели.

Иногда мы выходили на ближнюю часть Невского проспекта. Мне нравились загадочно освещенные внутри троллейбусы, двери в них открывались сами. На угловом доме лампочками освещался щит с рекламой нового фильма «Дети капитана Гранта».

В Ленинград перебрался и дядя Миша. Некоторое время он жил с нами, всем стало теснее, а мне — веселее. Дядя Миша быстро «пошел в гору», он был мастер по кройке обуви, а спрос на красивые вещи тогда уже стал проявляться у многих. В родне его считали дельным, удачливым, с ним могла сравниться лишь харьковская сестра Дора.

Мы собирались на праздники, дни рождения. Папа с дядей Мишей смешно танцевали, мама пела, было весело и радостно.

Помню нашу общую поездку в Семеновку, яблоневый сад и большое поле подсолнухов, его я видел из окна светлой комнаты. На фото, сделанном тогда, мы последний раз вместе с бабушкой Ханной.

До начала страшной войны оставалось совсем немного времени.

Для меня первым свидетельством о войне стало появление на улице огромного баллона, его за веревки несли люди в зеленой форме.

— Что это? — спросил я у мамы.

— Аэростат, — ответила она грустно.

По ее голосу я понял, что спрашивать об этом больше не нужно.

Вначале особых изменений в нашей жизни не было.

Но вскоре на домах появились громкоговорители, из них прохожие слушали новости, сообщаемые то бодрим, то нервным голосом.

А потом мы провожали на войну дядю Мишу. Его жена и дети уже уехали в эвакуацию, и в последнее время он часто бывал у нас.

В помещении вокзала было многолюдно.

На сцене, украшенной портретами, знаменами, пели и плясали люди в форме, становавшейся уже привычной. Все им подпевали.

На железнодорожных путях стоял состав из многих вагонов. Попрошавшись, дядя побежал к нему. За спиной у него болтался вещевой мешок.

— А папа тоже уедет? — спросил я маму.

— У папы «броня», он нужен на заводе, — ответила она.

Слово «броня» звучало грозно и надежно.

На улицах появлялось все больше военных и явно приезжих людей, они несли в руках чемоданы, тюки.

В тот вечер мама и папа долго говорили, поглядывая в мою сторону.

Потом мама взяла со шкафа чемодан, начала укладывать в него вещи.

— Мы поедим к бабушке? — обрадовался я.

— Нет, — ответила мама, — ты уезжаешь на лето с детским садиком. Так нужно, мы с папой приедем к тебе позже.

В садике сказали, что на лето нас отвезут в загородный лагерь, там будут спортивные занятия и самодеятельность.

Помню солнечное утро, поезд, толпу родителей на платформе. Среди них, грустно улыбаясь, стояла мама.

Папа задержался на работе, его я увидел, когда поезд уже тронулся. Он подбежал к маме, они глядели вслед поезду, пока он не скрылся.

Я почувствовал тревогу, раньше у нас не было таких расставаний.

Когда все разместились в вагоне, объявили, что к обеду приедем на место, там устроимся.

За окнами проносились дома и постройки пригорода, потом начался лес. Вокруг мирно разговаривали, в конце вагона слышалась песня.

Вдруг поезд начал тормозить и остановился.

Мимо быстро прошел кондуктор. За окнами послышались громкие голоса людей. Наши воспитатели тревожно переглядывались.

Потом поезд тронулся, ехал медленно и вскоре снова остановился.

Сказали — нужно выходить.

На платформе стояла группа людей, им нервно объяснял что-то человек в военной форме. Среди других его слов я услышал:

— Немцы перерезали железную дорогу!  
Все пошли к большому деревянному дому с красной вывеской.  
Там нам дали бутерброды с сыром, сказали, что нужно подождать.  
Мне опять с тревогой вспомнились оставшиеся в городе родители.  
Мы сидели на чемоданах на лужайке возле дома.  
Какие-то люди принесли бидоны с кашей и чаем. Нас накормили.  
Затем появились автобусы, ребят в них разместили по группам.  
Мы поехали по лесной дороге. Иногда останавливались, и водители машин собирались для короткого разговора, часто поглядывая на небо и к чему-то прислушиваясь.  
Через некоторое время автобусы выехали на большую поляну, где было много людей в форме.

Они лежали и сидели на земле, перевязанные бинтами.  
Автобусы так близко проезжали к ним, что казалось — наедем.  
Но никто из лежащих людей даже не шевельнулся.  
Водитель сказал воспитательнице:

— Эти вышли из боя. За Лугой — мясорубка.

О мясорубке у меня были нехорошие воспоминания. Дома я любил смотреть, как мама опускала в ее воронку куски мяса, лук, булку, а в миску тянулись остро пахнущие струйки фарша. Однажды когда мама на минуту отлучилась, я взял кусок булки, протолкнул его в воронку и покрутил ручку. Мой палец захватило, стало больно, с перепугу я не мог освободиться и отчаянно заорал.

Сейчас, услышав «мясорубка», я смутно начал понимать, что беда пришла ко всем и люди на поляне попали в нее одними из первых.

Вечером подъехали к поезду, состоящему из товарных вагонов.  
Несколько рабочих заносили в них сколоченные доски и солому.

Нас разместили на деревянных полках вагона, они были покрыты соломой под кусками материи. Заведующая детским садом сказала, что мы скоро приедем туда, где нас ждут, все будет хорошо.

Ночью я просыпался и с тревогой вслушивался в звуки снаружи.  
Вагон стоял, потом со скрипом и лязгом трогался.

Все дальнейшее помню смутно. Уже взрослым я составил маршрут эвакуации по рассказам мамы. Она называла два памятных места — Котельнич, Антропово. Поездка до этих населенных пунктов могла продолжаться не менее четырех дней.

Тут нужно отвлечься для обсуждения феномена событий того тяжелого времени. Вагон с детьми перемещался в сумятице первых месяцев войны в потоке беженцев, мобилизованных в армию людей, перемещаемых на восток заводов, а на запад — военной продукции. Всех ведь нужно было кормить, поить, устраивать на ночлег, организовывать движение!

Это было сделано, правда, с неудобствами и большими трудностями.

Сейчас ясно, что мы ехали по Северной дороге мимо Череповца.

По ночам становилось все холоднее, ехали навстречу осени и зиме.

Двое ребят заболели, их рвало. На одной из станций их вынесли.

А потом заболел я. Поднялась температура, все вокруг закрылось мутиью, в которой вспыхивали яркие круги. Воспитатели подходили ко мне, клали на лоб ладонь, печально качали головой и уходили.

А мне все стало безразличным, будто вокруг никого и не было.

Меня перенесли к дверям вагона. Там я лежал, слабея, пока в одно утро не увидел маму в проеме открывшейся двери вагона.

Она, в ватнике, надвинутом на глаза платке, всматривалась в вагон.

Я испугался, что мама не увидит меня, и громко закричал.

Не знаю, что бы было, если бы она меня не нашла.

Мог и умереть. Вроде я прошептал, что хочу горячей манной каши.

Позже мама рассказала о том, что произошло после моего отъезда.

Объявления в отделе эвакуации извещали, что дети едут, но куда — не было ясно.

Мама решила ехать искать меня, пока есть возможность.

С большими трудностями она доехала до Котельнича, где собралось много других ленинградских женщин, искавших своих детей.

Поезда приходили без расписания, иногда — без вагонов, в которых дети уезжали. Женщины теряли сознание от переживаний.

Мама на руках донесла меня до недалеко расположенного госпиталя, там нас приютили. Я был так слаб, что заново учился ходить.

Узнав, где находится мой детский сад, мама решила ехать туда.

Помню большой вокзал, где люди сидели на вещах.

Несколько женщин слушали матроса, на нем был суконный бушлат, брюки заправлены в сапоги. Просвет тельняшки, сдвинутая на голове бескозырка, автомат у ног придавали ему героический вид.

Матрос курил и рассказывал про бои в Севастополе, где был ранен.

На вокзале было еще много молодых моряков, мне они не понравились расклеванными брюками, смущенными или беспомощными улыбками. Некоторых из них качало при ходьбе.

Пожилая женщина печально сказала:

— Куда их, таких? Ничего не умеют! Перебьют...

В переполненном поезде мы доехали до станции, откуда к месту, где находился мой детский сад, нужно было ехать на санях.

Мама договорилась, чтобы нас подвезли.

Мы стояли у деревянной постройки, ждали, пока запрягали лошадь.

На путях протянулся состав с красными деревянными вагонами. К нему по тропке в снегу гуськом шли люди в серых шинелях. Все они были молодые, грустные, пилотки не прикрывали их ушей, ноги в обмотках выглядели тонкими и слабыми.

Видно было, что им очень холодно.

Один, худой, сутулый, смотрелся совсем нелепо в слишком короткой для него шинели. Проходя мимо нас, он запнулся о рельс, отчаянно замахал руками и упал. Каска, закрепленная на спине, с грохотом отлетела в сторону.

Я увидел его испуганное лицо. Он встал, поднял каску и как-то боком побежал за уходившими. Те продолжали идти, втянув головы в плечи.

На глазах мамы я увидел слезы.

Дома в деревне Бетелево стояли по обеим сторонам дороги, которая приходила из леса и скрывалась в нем. Мы шли за толстой женщиной в кожаной куртке, она держала в руке листок бумаги. Остановились напротив одной избы. Пожилая женщина в ватнике мела крыльцо.

Сопровождающая нас крикнула ей:

— Ивановна! Вакуированных ленинградцев возьмешь?

— Заходите, — ответила женщина на крыльце.

Ее звали Анна Ивановна, у нее были две дочки. Шестнадцатилетняя Валя работала на почте. Старшая Катя была очень нервной, курила. Война застала ее в Ярославле, а мужа с сыном — на Украине.

Она не знала, что с ними сейчас.

Я снова был вместе с ребятами эвакуированного детского садика.

Днем мы находились в школе деревни, где проходили занятия и нас кормили обедом, ночевать же разводили по избам жителей деревни.

Изба Анны Ивановны была небольшой. Из сеней попадали в первую комнату с русской печью. В переднем углу висела небольшая икона.

Лежанкой печь выходила в две небольшие комнатки, где находились хозяйка и ее дочери. Мы спали на досках в простенке за печкой.

В школе мама делала любую работу, лишь бы быть со мной. Мыла полы, выезжала в зимний лес на заготовку дров. Ее руки стали красными, шершавыми.

Я видел, как Катя смазывала дегтем нарывы на ее теле.

Вечерами мама при лучине писала папе в Ленинград.

Наклонно укрепленная лучина горела удивительно долго.

У Анны Ивановны, как и у других в деревне, была корова.

Люди здесь выглядели крепкими, здоровыми.

Позже я узнал, что в этих краях не было коллективизации.

Взрослые говорили, что сейчас трудно с солью, мылом, спичками.

Может, поэтому печь топили почти все время. В сенях стояла бочка со щелоком, им пользовались как мылом при стирке и мытье.

Один раз в неделю мы мылись в печи. Ее кирпичный пол застилали соломой, ставили шайки с водой. Внутри было тепло и темно, воду из шаяк брали на ощупь. Потом мама несла меня в сени, обливала ледяной водой. С каждым днем я становился все крепче и бодрее, бегал в валенках, полушубке, их раньше носили Катя и Валя.

Новый 1942 год как праздник в этот раз не отмечали. Попили чай и слушали разные истории, которые рассказывали и читали нам.

Одну — про то, как маршал Ворошилов в Гражданскую войну обманул белых. Он велел набить соломой шинели, выставить их в окопах. Белые испугались количества красных бойцов, убежали.

Другую — про наших моряков, удерживающих форт от окруживших их немцев. Те приказали морякам сдаться и вывесить белый флаг.

Всю ночь защитники форта шили флаг из простыней.

Но при утреннем солнце враги увидели, что он красного цвета.

Рассказ вызывал у нас гордость за героев моряков.

Немцы их боялись, а особо противным был их офицер. Он смотрел через пенсне, а после бритья пользовался духами.

В школе, ее взрослые называли «интернат», был патефон.

Иногда его заводили, и мы слушали пластинки.

На одной из них меня очень трогала грустная песня о ямщике.

Он поехал на почту, а его любимая в это время замерзла в сугробе.

Было непонятно, как это могло случиться.

Ведь должны были увидеть ее в беде и помочь!

Жаль было и ямщика. Зачем он поехал за почтой в плохую погоду?

Еще больше переживаний вызывала песня о заболевшем кочегаре.

Он не вынес тяжелой работы у котлов, вышел на палубу и умер.

Странно, что и ему никто не помог. А похороны кочегара в море были совершенно непонятны. С пластинки грустный голос сообщал:

К ногам привязали ему колосник

И койкою труп обернули...

Что такое «колосник», я не знал, но в этом слове чувствовалась тяжесть.

А нелепые действия с койкой снижали остроту моих переживаний.

Представлялось, как дюжие матросы с тупым усердием гнули вокруг бедняги кочегара железную кровать с металлической сеткой.

Позже я узнал, что на кораблях спят в подвесных койках из парусины, а тогда впервые задумался о глупых поступках взрослых людей.

Весной 1942 года жители Бетелева еще собирались за длинным столом на лугу у речки. Они катали с деревянных горок разноцветные яйца, пели песни с повторяющимся припевом. Видимо, это был здешний обычай, сложившийся годами, для нас же — интересное зрелище.

А вскоре пришла долгожданная весточка от папы из Ленинграда.

Он писал, что получил сразу пачку писем от мамы, жив, скучает по нам, надеется, что наступят лучшие времена. Мама тут же села писать ответ.

Потом наступило лето, самое радостное и интересное время года.

Мы ходили в лес, собирали ягоды, встречали без опаски пробегавших зайцев. Купались в узкой извилистой речке с очень чистой водой.

Выше речки были большие поля с посадками овощных.

Кто-то сказал, что там есть горох, и мы с одним мальчиком побежали на разведку. Увидели вышку со сторожем, притаились в траве.

А когда подползли к кустам гороха, раздался выстрел.

Мы прибежали к реке, где испуганные воспитатели искали нас.

В интернате по этому случаю было большое собрание, говорили, что позорно воровать то, что сейчас нужно фронту. Мама плакала, а мне было стыдно и жаль ее — при стольких переживаниях она еще имеет плохого сына. Но через пару дней об этом случае все забыли.

Воспитатели относились к нам тепло, заботливо.

Мне очень нравилась красивая вожатая Таня. Она до войны училась в балетной школе и ходила — как плыла. Что-то нехорошее случилось с ее родителями, заведующая нашим садиком, их подруга, взяла Таню в эвакуацию. Заведующую звали Вера Васильевна, она была строгой, мы немного побаивались ее. Тогда не знали, что она обязана была сопровождать нас в эвакуации, а в Ленинграде остались ее дети, муж.

В школе мы больше рисовали, лепили разные фигурки, но чаще всего нам читали привезенные из Ленинграда книжки Чуковского, Барто, Маршака. Одна из них, про непонятого Бибигона, запомнилась мне загадкой его мечты о жизни на Луне. Так и не прояснилось, попал он туда или нет, это вызывало у меня тревогу.

Работницы интерната обычно громко переговаривались между собой. Это мешало слушать чтение. И однажды, глядя на них, я сказал:

— У людей болтаются языки, поэтому они и говорят.

— Боже, что сказал этот мальчик! — всплеснула руками одна из женщин.

Они побежали к моей маме, наперебой стали рассказывать ей про то, какой я умный. Мама стояла с лицом, покрасневшим то ли от гордости за меня, то ли оттого, что, нагнувшись, мыла пол в коридоре.

А я так и не понял, что произошло. Просто — сказал.

В соседнем доме жил Витя Череповский, фантазер и большой умелец.

Когда я приходил к нему, со шкафа срывался и наискосок пролетал комнату самолет, а на буфете начинал двигаться паровоз с вагонами. Все это Витя делал из картона, бумаги, придумывая систему грузов для движения своих моделей. Он был старше меня, мы подружались.

Его мама осталась в Белоруссии с партизанами, папа был летчиком.

Витя здесь был с дедом-художником.

Дед рисовал портреты ушедших на войну по фотокарточкам, которые приносили женщины. Еще по заданиям писал объявления, но я не раз видел его рисующим картины местной природы.

В этот момент он ни с кем не хотел говорить.

Однажды Витя прибежал к нам и сообщил:

— Завтра будут убивать Шарика, он взбесился. И к какой-то из ваших девчонок прилетит отец. Самолет сядет на лугу у речки.

Шарик, добрый старый пёс, жил в конуре за школьным сараем. Летом он сопровождал нас в лесу, зимой возил на санках. Недавно с ним что-то случилось, из пасти шла пена, шерсть висела на нем клочьями, из конуры он почти не выходил.

Убивать Шарика позвали одноногого сторожа поля с горохом. Он долго целился в собаку из длинного ружья.

Не верилось, что это — всерьез.

Но грянул выстрел, и Шарик повалился на бок.

Мы подошли и вдруг поняли, что он уже никогда не сможет лаять и бегать, всего от одной дырочки в боку, из которой пролилось совсем мало крови. Жаль было Шарика, но нас отвлекли другие события.

Папа Лены Кузнецовой, видно — важный военный, прилетел на час.

Он побывал в избе, где жила дочь, говорил с Верой Васильевной.

Провожать его вышла почти вся деревня.

Пилот вызвал общую радость, выстрелив ракету перед взлетом.

Самолет разогнался по лугу и растаял на фоне садящегося солнца.

Витя сказал:

— Это — штурмовик. А мой папа прилетит на истребителе.

Но после этого никто не прилетал в Бетелево.

Новый 1943 год уже праздновали. Из леса в школу привезли большую пушистую елку. Мы украсили ее самодельными игрушками.

Таня из ваты сделала и разрисовала деда-мороза.

Разучили пьесу «Теремок», я в ней играл Петуха и много пел.

Но самым радостным событием был приезд кинопередвижки.

Нам показали фильмы «Василиса Прекрасная» и «Новый Гулливер».

Первый посмотрели почти в тишине, переживая судьбу Василисы, радуясь ее освобождению от злого Кощея, тот показался похожим на немецкого офицера из рассказа про моряков.

На втором фильме смеялись потешным движениям лилипутов, они ничего не могли поделать с веселым, правдивым парнем Гулливером.

Новости в Бетелево приходили с редкими письмами или слухами.

Рассказывали, что из поезда, идущего на фронт, сбежали и одичали лошади, что в Антропове видели передвижную газовую камеру, ее придумали фашисты, что немец отогнали от Москвы, но все еще идут тяжелые бои.

А потом пришло письмо, которое до слез обрадовало маму.

Она ходила по комнате и повторяла:

— Папа в Москве! Папа в Москве! Он приедет к нам!

Папа приехал в Бетелево весной. Он был в форме инженер-капитана, выглядел даже поправившимся, сильным. Когда колот дрова, поленья разлетались по двору во все стороны. Маму все поздравляли.



Из разговоров родителей я услышал о жизни в блокадном Ленинграде. Было холодно и голодно. Папа переехал в заводское общежитие из нашей прежде многолюдной квартиры.

Она опустела, не отапливалась, при беде некому было бы помочь.

А в общежитии завода на полу небольшой комнатки спали вшестером, все время топили печку с названием «буржуйка».

В цеху грелись у металлических бочек, в них сжигали все, что горело.

На работе выдавали кусочек хлеба. Папа разрезал его на квадратiki, сушил у бочек, в тряпочке держал на груди. Вечером ел их, запивая горячей водой. Тепло и тяжесть в животе позволяли заснуть.

Особенно плохо было в первую блокадную зиму.

Ели даже столярный клей, его нужно было умело разбавлять водой. Папа очень ослабел. Один раз, возвращаясь с работы, упал. Подняться не мог. В тоске слышал скрип снега под ногами уходящих людей. Ползком добрался до общежития, там отогрелся, ожил.

А потом с ним случилось то, что я понял уже взрослым.

Выдержав жестокие удары врага, наши люди стали действовать более решительно, организованно. На эвакуированных заводах делалось все больше танков, самолетов, другой военной техники.

А папа окончил институт по специальности «гусеничные машины». И оказалось, на учете был каждый, труд которого тогда был особенно важен. Папу вывезли из блокадного города и поручили организовать базу ремонта поврежденных в бою танков.

Он рассказал, что в первую неделю в Москве по два раза подсаживался к столам в гарнизонной столовой, ленинградцев жалели, им разрешали.

В Москве папа встретился со своей мамой, бабушкой Фросей, он ее очень любил. Подростком заболел оспой, эту болезнь тогда почти не лечили. В больнице уже подумали, что он умер, взяли из-под головы подушку другому больному. Энергичная бабушка заставила врачей делать все возможное, спасла его от смерти.

Из Москвы письма стали приходить чаще. Папа писал, что работы очень много, положение становится все лучше, есть надежда, что мы сможем к нему приехать.

Анна Ивановна меня любила. Утром перед уходом в школу давала стакан молока. Иногда угощала чечевичной кашей и овсяным киселем.

Раньше я не знал о чечевичной каше, она оказалась вкусной и сытной. Кисловатый кисель Анна Ивановна готовила в большом деревянном корыте. Еще одним лакомством был запеченный на пороге печи лук.

Вечерами к Анне Ивановне приходили соседки. Из их разговоров я услышал, что могут ввести нормы сдачи картошки и морковки с каждого дома, жить станет труднее. Больше всего боялись, что перепишут и отберут коров, самое главное в хозяйстве.

Мама с работы приходила поздно. Анна Ивановна все время была в хлопотах по дому. Катя уехала от нас куда-то работать в госпитале.

Валя вслух, чтобы и для меня, читала книжку про Робинзона Крузо.

Я сидел, думая о том, как хорошо жить на необитаемом острове.

Повезло этому Крузо, море выбросило сундук со всем необходимым, растительность и живность на острове давали пищу и даже одежду. И некому было отнять у него то, что добывал своим трудом.

С каждым месяцем в Бетелеве становилось меньше мужчин и все больше молодых ребят забирали в армию. Накануне отъезда их везде кормили, поили, им все разрешали. К концу дня, взявшись под руки, они шли по улице, выкрикивали слова песен

и заваливались в канаву. Утром их увозили на подводах с последней домашней едой в узелках. Их мамы стояли в конце деревни, подняв в прощании руки.

К Витиному деду пришел человек, которого в селе не любили, а мамы подростков боялись и старались не попадаться ему на глаза.

Человек этот был лыс, одна его рука была с черным протезом, который заменял кисть. Зимой он носил бурки, полушубок, папаху на голове, летом — зеленую гимнастерку и синие галифе.

Витя рассказал мне, что этот человек пожелал, чтобы дед нарисовал его в форме, с саблей. Жену — рядом, с букетом цветов.

Дед неделю ходил к «лысому» рисовать. Потом принес портрет, снял с него тряпку и мрачно сказал:

— Посмотрите вы... У меня только так получается.

Мы долго смотрели на портрет, переглядываясь, не зная, что сказать.

Голову лысого поддерживала сабля, погоны на гимнастерке висели, как крылья за спиной Кощея Бессмертного, важная улыбка пугала. Его жена держала букетик цветов, казалось, они увядают на глазах.

— Дед, он тебя убьет, — сказал Витя.

Позже он рассказал, что за портретом пришли, даже расплатились.

Но у двери лысый, просверлив деда глазами, прошипел:

— На тебя, гада, пули жалко! Я тебя запомнил...

Как-то я зашел к Череповским.

Дед сидел с письмом в руке, поникший Витя прислонился к печи.

— Написано: «пропал без вести», — сказал дед, — это ничего не значит. Не такой Колька парень, чтобы какой-то фриц его сбил. Прилетит.

И Витя ждал папу.

Осенью пришло письмо о том, что нам можно выезжать в Курск.

Я почувствовал радость, но было грустно расставаться с ребятами, воспитателями, Анной Ивановной, Валец. Казалось, всем без нас станет хуже.

Мы пришли в интернат прощаться.

При разговоре с Верой Васильевной мама заплакала.

Все желали нам счастливой дороги.

Я подошел к вожатой Тане, сказал — уезжаем. Она улыбнулась.

— Ты побольше пей, у тебя хорошо получается...

У избы, где мы прожили два года, стояли сани с нашими вещами.

Запряженная мохнатая лошадка тоже выглядела грустной.

Мама сказала Анне Ивановне, что напишет сразу, как приедем.

Валя была на работе, с ней увидеться не получилось.

Анна Ивановна молча перекрестила меня. И мы уехали.

Уже взрослым я прочел справку о моем пребывании в интернате.

В ней все было написано правильно, но — с фамилией Шаронов.

Конечно, это была описка — кто и при каких условиях заполнял тогда списки массы перемещающихся людей! Но может быть, и судьба зачем-то решила запутать следы на моем жизненном пути.

В Москве я провел целый день в детской комнате на вокзале, пока мама бегала за какими-то документами. Меня и других ребят кормили тети в белых халатах. Я даже поспал на сдвинутых стульях.

В Курске нас встретил молодой солдат, сказал, что его зовут Алексей, он ординарец Михаила Николаевича. «Ординарец» — было непонятно.

— Папин помощник, — пояснила мне мама.

В комнате папы стояла кровать, стол, на тумбочке — патефон и стопка пластинок Руслановой, Шульженко, Утесова. Мама начала разбирать вещи, а я слушал пластинки с песнями в исполнении Утесова.

Папа приехал поздно. Мы были так счастливы, что просто смотрели друг на друга, радостно привыкая, что наконец все вместе.

Утром пошли смотреть Курск. Разрушений в нем не было видно.

Люди на улицах выглядели веселыми, смеялись.

Вечером пошли смотреть новый фильм «Небесный тихоход».

Сеанс был поздним, детей не пускали. Меня под полой шинели провел в зал сослуживец папы Андрианов, человек большого роста.

Фильм нравился, в зале часто слышался смех.

Эти впечатления ребенка описывает взрослый человек, тогда я не знал, что недавно в этих местах происходило большое сражение.

К нам приходили сослуживцы папы. Он любил застолье с веселыми разговорами, выпивкой, песнями. Это доставляло много хлопот маме, хорошо, что ей помогал Леша, ставший мне старшим другом.

В конце посиделок папа просил маму спеть. Одна ее песня особенно трогала печальной мелодией. О чем она, я узнал позже, когда пришел ответ на запрос папы о судьбе родных в Семеновке.

Сообщение было о том, что мою бабушку Ханну, мамину сестру Симу и ее дочь Полину зверски убили нацисты или их пособники.

Позже об этом мама получила и письмо из Алма-Аты от подруги Полины. Та писала, что по просьбе бабушки они с Полиной ушли из Семеновки перед приходом врагов. Целый день шли среди беженцев. Один раз дорогу пересекли грузовики и танки с немецкими солдатами, но те даже на них не посмотрели. А потом Полина сказала, что очень устала, у нее болит сердце и она хочет вернуться.

Веселая, добрая Поля.

Понятно, не от усталости болело ее сердечко, а от тоски по маме и бабушке. Она вернулась, и всех их расстреляли в овраге за сахарным заводом.

Узнав об этом, мама день лежала на кровати, скрючившись от горя. Позже пришло еще одно печальное письмо из Ташкента.

Тетя Дора сообщала, что ее муж добровольцем пошел на фронт и был убит при кратковременной обороне Киева.

Для семьи Простаковых это была еще одна потеря в войне.

Мама заболела, ходила согнувшись. Мне сказала, что простудилась, когда ехали из Бетелева. Там был снег, в Москве — дождь, в валенках она промочила ноги. Ей становилось все хуже, пришлось лечь в больницу, и папа брал меня с собой на работу, она была за городом.

Однажды Леша повел меня на поле, куда привозили подбитые танки. Их было много, одни стояли наклонно со сдвинутыми пушками, на других не было гусениц. Вид пустых открытых люков пугал, мне представлялось, что могло произойти, когда снаряд пробивал броню.

Отдельно стояли два танка с более темной краской и очень большой пушкой. Леша сказал — немецкие, их сейчас изучает наша комиссия.

Танки были разные, но стремительным видом мне больше нравились наши Т-34. Такой вид придавал наклонный корпус и башня округлой формы. Правда, вблизи были видны пробоины от снарядов, грубая поверхность башни, обгоревшая краска.

Автор этого повествования — выпускник кафедры ленинградского института, которой руководил Ю. А. Нехендзи, один из создателей литой башни танка Т-34. В его потом долго засекреченной книге я прочитал, как начиналось производство этих башен.

Быстро собрали печь для выплавки стали. Большую литейную форму набирали из стержней в металлическом жакете. После заливки центр тяжести формы перемещался выше опорных цапф, достаточно было выбить упор, чтобы форма перевернулась и башня вываливалась в кессон. Ее засыпали песком для охлаждения с нужной температурой.

Такие решения позволили использовать труд женщин и подростков, обойтись без термических печей, они еще не были готовы к работе.

Танки пошли на фронт в требуемые сроки.

В новый 1944 год в здании городского театра Курска был большой концерт. Лысый человек в темном костюме рассказывал смешные истории и объявлял фамилии артистов.

Меня с мамой посадили в первом ряду.

Вдруг человек на сцене попросил маму привести меня к нему.

Я увидел много лиц в длинном зале и оробел.

Человек спросил — что я могу спеть тетям и дядям.

Раздались хлопки, кто-то крикнул: «Спой, мальчик!»

Я лихорадочно вспоминал, что могу исполнить в новогодний вечер.

Про петуха из «Теремка» не подходило, про кочегара было грустно.

И вспомнив песню, часто напеваемую родителями, я заголосоил:

В веселья час и в час разлуки  
Хочу я быть с тобой всегда,  
Давай пожмем друг другу руки,  
И — в добрый путь на долгие года!

Зал грохнул хохотом и аплодисментами. Мне дали плитку шоколада и спустили к маме и папе, смущенным моим успехом.

Весной мне исполнилось семь лет, школа в Курске еще не открылась, и мама махнула рукой на мое образование, ограничившись чтением.

А вскоре пришел приказ о перемещении ремонтной базы дальше за наступающим фронтом.

Это обсуждалось дома. Папа сказал:

— Ехать разрешили, но можно остаться у мамы в Москве...

— Нет, что ни случится — будем вместе, — ответила мама.

Начались сборы в дорогу.

В фургоне грузовика ЗиС-5 установили откидные полки-кровати с ящиками для вещей и стол. Из удобств были еще табуретки, тумба с примусом, умывальник с ведром под раковиной.

Куда и как долго мы будем ехать, было неизвестно.

Все оборудование и материалы ремонтной базы были размещены на грузовиках, их погрузили на платформы железнодорожного состава.

1944 год известен десятью решающими ударами по немецкой армии.

Фашистов гнали на всех фронтах. За время поездки мы ни разу не слышали оружейных выстрелов, не было налетов вражеской авиации. Поезд ехал быстро, останавливались, чтобы заправить паровоз водой.

На одной стоянке наш состав оказался рядом с санитарным поездом, перевозившим легкораненых. Стояли несколько часов. В окне одного вагона того поезда женщина, на-

верно — артистка, пела под аккордеон. Последней, сразу полюбившейся всем, исполнялась песня «Огонек»:

На позицию девушка провожала бойца,  
Темной ночью простились на ступеньках крыльца,  
И пока за туманами видеть мог паренек,  
На окошке у девушки все горел огонек.

Вид красивой женщины, музыкальные переливы аккордеона у всех вызвали чувство светлой грусти, затаенной мечты и надежды.

Три дня мы ехали то впереди, то позади этого санитарного поезда и на общих стоянках слушали «Огонек».

А потом санитарный поезд не пришел.

Солдаты базы долго сидели на рельсах, ждали, что он появится.

Конечным пунктом поездки был городок Белая Церковь на Украине.

Недалеко от него, в селе Монастырищи начали организовывать базу.

Папа был очень занят, я его почти не видел.

Нас разместили в «мазанке» с синими рамами окон, они выходили в сад, где на яблонях, грушах и сливах висели созревшие плоды.

Хозяйка готовила нам еду. Ни о войне, ни об оккупации разговоров я не слышал. Люди выглядели спокойнее, чем в Курске или Бетелеве, может, и оттого, что здесь было тепло, в сарае висели связки лука, лежали желтые тыквы, стояли банки меда. По двору расхаживали гуси и куры, из сарая слышалось хрюканье свиньи.

Прошел слух, что в пруду за селом полно рыбы.

Андрианов и двое солдат пошли рыбачить.

На пруду нашли плот, разделись до трусов.

Плот оттолкнули от берега. На середине пруда бросили взрывчатку и только потом осознали, что нет весел. Смотреть, как суматошно они гребли руками, было тревожно и смешно. Плот двигался медленно, на берегу люди побежали за доской к ближайшему дому.

Раздался взрыв, поднялся столб воды, рыбаки попадали с плота, а на поверхность пруда вверх белыми брюшками всплыло много рыб.

Была большая уха.

Начали привозить поврежденные в боях танки, самоходные орудия.

Среди них оказался американский тягач, у него лопнула гусеница.

Тягач был похож на комод, из него взяли комплект инструментов, а кожаные сиденья поставили в Т-34 как подарок новому экипажу.

Одно из ярких впечатлений того периода — появление американских машин, грузовиков марок «форд», «шевроле», «студебеккер».

За мощь мотора и проходимость больше ценили «студебеккеры». Водители говорили — на полном приводе они могут буксировать танк.

В кинохрониках мелькают их силуэты с направляющими, по которым запускались ракетные снаряды «катюша».

«Штабными» машинами были «виллисы» и «доджи». Их конструкция, без кабины, с откидным ветровым стеклом, была очень продумана для ответной стрельбы или эвакуации во внезапном бою. Мне рассказывал об этом шофер папиного «доджа», даже разрешал заводить машину.

В этом «додже» папа повез нас в Киев.

В городе было много разбитых домов, но зеленые кроны деревьев, золотые купола собора на берегу Днепра придавали Киеву мирный вид. Папа и мама даже попали

на представление оперетты «Сильва» фронтового коллектива артистов музыкальной комедии.

Меня удивила и обрадовала перемена в облике наших военных. Офицеры носили красивые кители со светлыми погонами. У многих, в том числе и у солдат, были медали и ордена. Все двигались ловко, уверенно, сказывался опыт военной жизни.

Чувствовалось настроение людей, уверенных в близкой победе.

Опять нужно отвлечься для размышлений взрослого человека.

Прошло много лет. Умерли почти все участники той войны.

Немногие читают воспоминания ее очевидцев, а историки излагают события того времени с учетом нынешних представлений.

Вспоминают изречения вождей, указания полководцев, людей, обычно решительных в использовании «живой силы» войны.

В этом есть часть правды. Конечно, воля и решительное руководство нужны, чтобы для победы переместить и привести в действие массы людей, техники, материалов.

Но правда и в том, что миллионы людей, каждый на порученном ему месте, выполнили трудовые и ратные подвиги, сохранив нам жизнь.

Это в первую очередь нужно отмечать в памятные годовщины.

По утрам стало пролетать все больше наших бомбардировщиков.

Они летели, закрывая почти полнеба. Леша сказал — летят бомбить Констанцу, где у немцев были последние запасы горючего.

Иногда со страшным гулом моторов пролетали американские «летающие крепости». Они и днем были в сигнальных огнях, как на параде. Со всех сторон них торчали стволы пушек, пулеметов.

Казалось, их невозможно сбить.

Лето в Монастырицах было радостным и спокойным. Мы проводили дни с ребятами из соседних домов. Самым интересным занятием было катить с помощью крючка из проволоки круглое звено коробки передач танка. При этом оно издавало звук мотора «виллиса», останавливалось с помощью зацепа за внутренние зубья.

Но пришел приказ о перемещении ремонтной базы на новое место.

Вначале были слухи — в Румынию. Но оказалось, что на Западную Украину, в направлении Карпат. Там немцы сопротивлялись упорно.

В этот раз перемещались на грузовиках, своим ходом.

Леша сказал, что мы переехали прежнюю границу нашей страны.

Меня не выпускали из фургона грузовика. Иногда мы ночевали в домах внешне вежливых людей, говоривших на непонятном языке.

Однажды встретили большую колонну пленных румын или венгров.

Их охраняли не более трех-четырех наших солдат с автоматами.

Вид у пленных был веселый, это меня удивило.

— Война для них закончилась, — сказала мама, — живы, вот и радуются.

Появлялись частые комиссии по проверке организации работ, они приезжали на трофейных машинах. Эти машины, от скромного «опель-кадета» до шикарного «опель-адмирала», выглядели красиво, но не были так просты, удобны в использовании, как «американцы».

Начались горы, становилось холоднее. Иногда выпадал мокрый снег.

Пришли предупреждения опасаться бандитов, прячущихся в лесу.

А потом все сильнее стал слышен гул орудий. Мирный вид дорог с бетонным покрытием, указателями и габаритными столбиками на обочинах не согласовывался с гулко доносившимися звуками боя.

Затем стало тихо, наше движение продолжилось, и когда поднялись на перевал, увидели в долине город.

Это был Ужгород.

Город имел благоустроенный вид, улицы были вымощены камнем.

Вдали на высоком месте светился шпиль собора. Разрушений не было видно, лишь наклонно вздыбились плиты взорванного немцами моста.

Его провал был накрыт бревенчатым настилом, сооруженным нашими саперами. На низком берегу реки в штабеля были уложены авиабомбы, окрашенные в голубой цвет. На перекрестках улиц стояли патрули, Мы разместились в доме с оштукатуренными стенами под крышей из черепицы. В доме была ванна, на кухне, у кафельной стенки — плита, действовал водопровод, канализация. Мама пришла в восторг от этого и первым делом выкупала меня.

Вначале на улицах было немного прохожих, в основном женщины.

Удивили их светлые пальто, открытые туфли, это — зимой.

Правда, снега почти не было, а тротуары были без луж и провалов.

Какое-то время действовал комендантский час. По ночам слышался мерный шаг наших солдат. Они отрывисто, грубыми голосами, пели:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, зовут Отчизна нас!..

Папа сказал — так нужно, случаются обстрелы недобитками из леса.

Все должны понимать — порядок будет обеспечиваться решительно.

Удивительно быстро происходил здесь переход к мирной жизни.

Злых и недовольных лиц не было видно, жители старались услужить новой власти.

Маму называли «госпожа», подсказывали, где можно купить продукты и нужные вещи.

Однажды к нам пришли двое солдат базы с чемоданами в руках. После недолгого разговора с папой они оставили чемоданы и ушли.

Через какое-то время появился человек в пальто и шляпе. В руке он держал листок бумаги и спокойно, но требовательно что-то говорил папе. Оба по этому листку проверили вещи в чемоданах. Потом этот человек попрощался, подняв шляпу, легко поднял чемоданы и ушел.

Из разговора родителей я понял, что наши солдаты набрали на погреб с открытой дверью во дворе брошенного дома. Мама сказала:

— Ребята вещи и рассматривать не стали. Сразу сказали о находке.

Кстати, у этого типа в списке третьими записаны галоши.

Это было сказано для меня. Я отказывался надевать галоши на свои подшитые кожей валенки. Такие галоши связками лежали в машине военторга, сильно пахли резиной. У них была малиновая подкладка, она меня раздражала. Никто не брал эти галоши.

Какое-то время я ходил в необычную школу. Может быть, это была не школа, чем-то нужно было занять детей в сложившейся ситуации.

Там в первом ряду сидели ученики первого класса, во втором — второго, в третьем — третьего. В углу на полочке лежали две розги, толстая и тонкая. Ими учительница била по рукам тех, кто шумел и не слушал.

Меня она не трогала.

Я не понимал, что она объясняла, и рассматривал картинки в книге на чешском языке. В ней был нарисован по виду буржуй, он пил из маленькой чашки, а над его головой (так он мечтал) парила большая кружка. На другом рисунке человек рабочего вида пил из большой кружки, а над его головой висела маленькая чашка.

Так здесь представлялись интересы, отношения богатых и бедных.

Им не было понятно, что буржуй отберет у рабочего кружку, уж точно оставив себе и чашку.

А потом я заболел скарлатиной. В больнице нас опекали монашки в черной одежде, на головах они носили белые угловатые капоры.

В палате я находился со взрослыми, все рассматривали журналы со смешными картинками. Эти журналы листали многие до нас.

Приходил врач в военной форме под белым халатом.

Встревоженной маме он сказал:

— Сейчас проще, появился пенициллин, он лечит от всего.

Вскоре я поправился, и мама забрала меня домой.

Папы дома не было, ремонтная база уехала в сторону озера Балатон, там происходили последние бои в Венгрии.

Весна началась рано. В конце марта уже зацвели некоторые деревья.

К дому, где мы жили, примыкал сад. За ним был какой-то сарай, в нем жили старый человек со злым лицом и мальчик такого же, как я, возраста. Его звали Михай. От него я узнал первые слова венгерского языка, научился понимать и говорить нужные для общения фразы.

Я познакомился еще с одним мальчиком, Иштваном. Он напомнил мне Витю из Бетелева, такой же выдумщик, но более активный и резкий в действиях. Иштван все время ходил с рогаткой и стрелял по всему, что двигалось. Он повел меня к больнице, где лечились наши солдаты. За забор больницы выливали всякие отходы, туда приходили крысы, и Иштван расстреливал их из рогатки. С ним можно было попасть во всякую историю, но уж точно — интересную.

Мы обошли все окрестности, везде Иштван мне о чем-то рассказывал. Что можно пойти вывернуть запал из бомбы на берегу реки для того, чтобы глушить рыбу. Что летом можно пролезть под сетку ограды бассейна возле замка и бесплатно купаться, сколько захочешь. Что на площади продают жареную кукурузу, сахарную вату и лед.

— Но нужны деньги, — сказал Иштван, задумчиво посмотрев на меня.

Мама могла дать деньги, но мне бы пришлось ответить на столько ее вопросов, что пропадал интерес к любому лакомству.

Я знал, что в столе у папы есть небольшой кошелек, а в нем — разные монеты. Там были рубли с надписью на ободке «Банк РСФСР. 1924» и медаль с профилем старика и надписью на немецком — «Гинденбург». Рубли остались от родителей папы, остальное как-то образовалось.

Я нашел там венгерские монеты с дырками, и мы с Иштваном съели по сахарной вате. Мой авторитет у него явно возрос.

Он пришел без рогатки, сказал — пойдём к девочке, с ней интересно.

Ее звали Оранька, она была стройная, белокурая, прямо с картинки из книжек, которые тоже были в палате, где я лежал со скарлатиной.

Ее родители удивились, что со мной можно говорить по-венгерски, нас угостили вареньем из айвы. Иштван вел себя необычно скромно.

Оранька потом приходила к нам и очень понравилась моей маме.

Из соседнего дома к нам стала приходиться женщина, звали ее Регина. Она помогала маме и учила ее откармливать гуся.

На это страшно было смотреть. Гусю силой запихивали в глотку кукурузу. Он уже и есть не мог, мотал головой, чтобы не задохнуться, но Регина била по клюву, чтобы глотал. Я ее возненавидел. На мои просьбы не мучить птицу мама ответила, что здесь



это делают издавна, а гусиный жир, смалец, очень полезен. У нас потом стояло банок пять этого смальца.

Мама за последнее время сильно располнела, сказала, что ей нужно будет лечь в больницу и за мной будет присматривать Регина.

Одной ночью улицы осветились ракетами, слышались громкие крики, отдельные выстрелы. Мама сказала:

— Это — победа! Скоро приедет папа.

На следующий день много людей шло к главной площади города, колонна скрипачей-цыган играла веселую, бодрую мелодию.

На нашей улице появились новые люди.

Из концлагеря вернулась семья истощенных евреев с остриженными головами. Регина сказала маме, что они были на пороге крематория, спасли наши войска. Их звали Мошковичи, две женщины и девочка младше меня. Когда у них отросли волосы, они стали красивыми людьми. Позже они пришли к нам познакомиться.

Иштван куда-то пропал, я один ходил на площадь, там появлялось все больше мест, где торговали разными вещами и сладостями. Там я познакомился с мальчиком из русской семьи, она здесь жила еще с довоенного времени. У Кости, так звали мальчика, были чудесные игрушки: заводные автомашины, железная дорога с движущимся составом. Сюда бы Витю Череповского!

Одно смущало: на многих игрушках была нарисована свастика.

Я не сказал об этом маме, она бы запретила ходить к Косте.

Папа приехал как раз к рождению моей сестры Ани.

Она была удивительно спокойная, внимательно смотрела на меня.

Мама глядела на нее с любовью, папа сиял от счастья.

В один из дней к нам пришел Милош Вайс, офицер чешской армии, владелец дома, где мы жили. Они с папой разговаривали о доме, где мы жили временно. Вайс жить здесь не собирался.

То ли нельзя было тогда оформить нужные бумаги, то ли папа и мама отнеслись к этому вопросу так же, как к моему рождению, но наше проживание в доме Вайса не было подтверждено должным образом, что позже привело к серьезным неприятностям.

На главной площади города был установлен большой щит с картой, на ней усатый старшина отмечал продвижение наших войск к Берлину.

Сейчас этот щит можно было снять.

Но в один из дней этот старшина наклонными линиями карандаша закрасил на карте всю Закарпатскую область и сказал собравшимся:

— Наша территория, еще с довоенных времен!

После этого Костя с его мамой начали собираться в Югославию, там у них оказались давние друзья. Мошковичи уехали незаметно.

А к сентябрю в здании на берегу реки открылась русская школа.

На досках класса цветными мелками было написано:

«Дорогие дети! С новым учебным годом!»

В Ужгороде закончилась неопределенность с моим появлением на свет. Сперва в первой справке о моем рождении написали «со слов родителей». Получалось, что я родился со слов родителей.

Такое не понравилось.

Тогда вверху справки указали: «Запись восстановлена!»

Папа сказал — восклицательный знак подчеркивает необходимость большего внимания ко мне, и с этим можно согласиться.

Эта справка подвела черту под моим военным детством.